



Н. А. НОЛЛЕ-КОГАН

Из воспоминаний

И в памяти на миг возникнет
Тот край, тот отдаленный брег.

А. Блок

И тень моя пройдет перед тобою.

А. Блок

Прежде чем говорить о моем знакомстве с Блоком и о некоторых встречах с ним, я хочу передать мое впечатление о его внешнем облике. Говорю о моем впечатлении и подчеркиваю это, ибо, может быть, в памяти других он запечатлелся иным.

Мне невозможно представить себе Блока и обрисовать его, не связывая образа поэта с определенной атмосферой, местом, природой, освещением, переживанием. В его внешности все зависело от состояния духа, все, даже колорит кожи, цвет глаз, цвет волос.

Каков был Блок? Красив? И да и нет. Были ли глаза его светлыми или темными? Вились или гладкими были его волосы? На все отвечаю: и да и нет.

Когда Блок бывал весел духом, спокоен, здоров, то кожа его лица, даже зимой, отливала золотисто-красным загаром, мерцали голубовато-серые глаза, волосы орехового оттенка (иного определения не подберу), легкие и пушистые, венчали высокое чело. Очерк рта выразительный, и когда он плотно сжимал губы, то лицо внезапно приобретало суровое, замкнутое выражение, когда же улыбался, оно сразу светлело и молодело. Походка упругая, легкая, фигура статная, ладная, весь он какой-то «подобранный», все сидит на нем элегантно, ничего кричащего, вульгарного. <...> В дни душевного смятения, упадка духа, фи-

зического недомогания лицо серело, глаза тускнели, волосы темнели и переставали пушиться. Он словно сникал, и даже поступь тяжелела. Есть снимок Блока в гробу: на подушке покоится голова поэта с темными, совершенно гладкими волосами. Вот потому-то к внешности Александра Блока я буду возвращаться несколько раз, и всегда в связи с теми моментами, о которых буду рассказывать.

Мое знакомство с ним началось не с личной встречи, а с переписки, но иногда мне приходилось встречать его то тут, то там.

Мы жили в Петербурге. Муж мой, П. С. Коган, был приват-доцентом Петербургского университета, а я училась на филологическом факультете Бестужевских курсов¹.

Петербургский май, «май жестокий с белыми ночами»². Я возвращалась с Островов. Уже темнело. Я проголодалась и зашла в кафе. Заняв свободный столик, я пошла позвонить по телефону домой. Вернувшись, застала сидящего за моим столиком Блока. Но в этот момент соседний столик освободился, и Блок, извинившись, пересел.

Показался он мне тогда печальным, уставшим.

В марте 1913 года я написала Блоку первое письмо³. В нем я, между прочим, спрашивала, не разрешит ли мне поэт посылать ему иногда красные розы. — «Да, если хотите. Благодарю Вас. Мне было очень горько и стало легче от Вашего письма. Александр Блок», — ответил он (23 марта).

С тех пор, то есть с марта 1913 года и до 28 ноября 1914 года, мы переписывались, не будучи знакомы. 28 ноября 1914 года мы встретились в первый раз⁴.

День был снежный, бурный. У нас в квартире на Васильевском острове собралось к обеду много народу, и в комнатах было душно, жарко. Петр Семенович должен был в этот вечер читать публичную лекцию на Петербургской стороне, и, пообедав, все гости ушли вместе с ним. Вышла и я подышать морозным воздухом и пройтись немного с мужем.

Ветер стих, все вокруг словно затянуло снежной белой тонкой кисеей. Проводив немного мужа, я перешла Дворцовый мост и медленно направилась в сторону Офицерской улицы, где жил Блок. Вот и дом 57. Я остановилась, решительно отворила дверь подъезда, поднялась на четвертый этаж и позвонила у дверей квартиры Блока. Отворила опрятная горничная. Довольно большая передняя, налево — вешалка, висит шуба Александра Александровича, лежит его котиковая шапка. Дверь в кабинет закрыта.

— Барина дома нет, — сказала горничная, но я почему-то не поверила.

— Нету? — переспросила я. — Ну, что же, я вернусь через два часа.

Прислуга изумленно взглянула на меня. Я спустилась вниз. Наняв извозчика, я поехала в магазин Гвардейского экономического общества. Поднялась в кафе. Случайно встретила В. С. Чернявского⁵, известного теперь и, по-моему, лучшего чтеца стихов Блока. Он знал о моей переписке с Блоком. Я рассказала ему, почему я здесь и куда отсюда поеду.

Мы вышли вместе, зашли в цветочный магазин Эйлерса, я купила алых цикламенов. Наняла лихача.

Вторично стояла я у тех же дверей. Позвонила. Открыла все та же горничная. Ничего не сказав, помогла снять ботики, скинуть шубу, провела в кабинет.

Высокая, просторная, теплая комната, полумрак, на письменном столе горит лампа, ваза, в ней благоухают цветы. Стол стоит боком к окну, на нем ничего лишнего, чисто, аккуратно, никаких бумаг, перед столом кресло, по другую сторону — второе, около окна кушетка, вдоль другой стены большой диван, в углу голландская печь, перед нею кресло, дальше по стене шкапы с книгами, дверь в столовую. От всего впечатление строгое, но уютное, теплое. Когда я в эту комнату попала днем, она оказалась еще лучше. Ее очень красил вид из окон. Окна были словно непрерывно меняющиеся в раме картины, за ними лежал такой простор, играло и жило переменчивое небо, отражаясь в погожие дни в Пряжке, а там далеко-далеко кольцом синели леса. Зимой же, то ли от снега, то ли от неба, по всей комнате стлался голубоватый отсвет. Я остановилась около стола, положила на него цикламены.

Послышались быстрые, легкие шаги, дверь распахнулась, предо мной стоял Блок. Он в чем-то темном, кажется мне высокого роста, серьезное, спокойное, слегка настороженное лицо. Я оробела, молчу, молчит и Блок. Внезапно взгляд его падает на мои цветы.

— Так это вы?

Я утвердительно киваю головой. Он дает мне время овладеть собой, и потекла наша беседа. Он говорит медленно, чуть приглушенным голосом, часто вопросительно взглядывая на собеседника, то ходит по комнате, то остановится, то закурит, присев около печки, чтобы дым вытягивало в трубу. Я сижу на большом диване, запрятав руки в муфту. Волнение мое улеглось, мне привольно, просто, легко. Александр Александрович

обладал драгоценным даром разряжать напряженность атмосферы, если человек был ему приятен, и уходил, словно улитка в раковину, если сталкивался с тем, кого ощущал «чужаком».

Когда я уходила, Блок положил мне в муфту сборник своих стихов «Ночные часы». <...>

После Февральской революции в 1917 году мы переезжаем в Москву. Переписка с Блоком принимает более интенсивный характер. Вся моя переписка с Блоком, длившаяся восемь лет, содержит: его писем ко мне, включая все записки и шуточные рисунки, — 147⁶; моих сохранилось 25. Последнее письмо было получено мною за два с половиною месяца до его кончины, оно датировано 20 мая 1921 года, написано карандашом в постели:

«Чувствую себя вправе писать Вам карандашом, в постели, и самое домашнее письмо», и дальше: «Выгоды моего положения заключаются в том, что я так никого не видел и никуда не ходил, ни в театры, ни на заседания, вследствие этого у меня появились в голове некоторые мысли и я даже пробую писать»⁷.

Уже в 1919 году у меня зарождается мысль уговорить Александра Александровича приехать в Москву читать стихи. Настроение у него в ту пору было мрачное, подавленное. Он стал сомневаться в себе, как в поэте. И я надеялась, что перемена места благотворно повлияет на его настроение и на здоровье. Об этом я и писала ему. В ответ получила письмо, датированное 3 января 1919 года. Привожу его в выдержках:

«Вы все пишете мне о “вечере” моем, как будто само собой разумеется, что это хорошо и необходимо, и вопрос только в дне... Для меня это мучительный вопрос: почти год, как я не принадлежу себе, я разучился писать стихи и думать о стихах. Я не выхожу из мелких забот, устаю почти до сумасшествия... Физически мне было бы трудно в таком надорванном и “прозаическом” виде выступать на каком-то триумфальном вечере, читать всякое старье, — для чего и для кого?.. Все это вместе заставляет меня просить Вас еще раз отказаться от этой мысли... Поверьте мне, что я не хочу Вас обидеть, но что это стоило бы мне часов мучительных...

...О Гейне (до которого я тоже недели три в заботах и протоколах не мог коснуться): хорошо сделать так, как Вы пишете, если Вам это интересно. Мне начинает казаться, впрочем, что передача стихов Гейне — просто невозможна. Может быть, я откажусь и от Гейне...

Гейне — по Эльстеровскому изданию. Больше половины Гейне едва ли можно будет дать. Писем, думаю, не будет. Ближайшим образом, не попробовали бы молодые московские поэты

(на условиях не заказа, а свободного конкурса, как Вы и пишете) свои силы на “Zeitgedichte” и примыкающему к ним, т. е. на третьестепенном, теряющем зубы Гейне (кроме одной “Doktrina”, пожалуй)? Можно бы составить небольшую книжку из политических стихотворений, столь искалеченных П. И. Вейнбергом и его присными».

Меня очень опечалило, что Блок охладел и к Гейне. Послала ему «Книгу песен» Гейне в Эльстеровском издании⁸, в красном кожаном переплете, и небольшую посылку. 28 февраля 1919 года получила от него письмо:

«Спасибо Вам за все — за папиросы особенно, потому что это лишение — одно из самых тяжелых. Эльстеровский Гейне — такой точно — мне подарен моей матерью 10 лет назад. Теперь будет два — 1909 и 1919 года. Не знаю, подвинется ли от этого русский Гейне; до сих пор надеждами на этот счет я мало избалован, большую часть переводов приходится браковать».

Весь 1919 год мы продолжаем переписываться. Я получаю от него книги с автографами, которые почти всегда выражают его отношение к написанной им книге в данное время⁹. Так, например, посылая второй том своих стихотворений в издании «Земля», он пишет в мае 1919 года: «Еще одна старая и печальная книга». Посылая в сентябре месяце 1919 года «Ямбы» в издании «Алконост», он делает надпись: «Последняя книжка в таком роде. Страницы 5—6 вырваны, чтобы не позорить автора¹⁰. Автор». Большое письмо от 7 сентября 1919 года, приложенное к «Ямбам», Блок заканчивает так: «Простите, что “Ямбы” немножко надорваны внутри: 1) это — единственный у меня сейчас экземпляр на роскошной бумаге; 2) сам я тоже надорван и, вероятно, давно». Книгу «Песня Судьбы» в издании «Алконост» я получила 10 сентября 1919 года с таким автографом: «Дорогой Н. А. Нолле книга “моей второй молодости”» (Нолле была моя девичья фамилия).

Так проходил 1919 год. Александр Александрович не только морально чувствовал себя подавленно, но и физически: ему часто нездоровилось. Но вопрос о поездке в Москву был почти решен в положительном смысле, и в апреле 1920 года Блок пишет:

«Дорогая Надежда Александровна. Вот, наконец, пишу Вам, и прежде всего благодарю Вас очень за пасхальные подарки — роскошные. Уже вторую неделю у меня не прекращается легкий жар, потому я никуда не выхожу, не хожу на службу, и у меня начинают зарождаться, хотя и слабо пока, давно оставленные планы — вновь стать самим собой, освободиться от насилия над душой, где только возможно, и попытаться писать.

Пока еще рано говорить об этом, впоследствии, когда выяснится, я Вам расскажу, если хотите, в какую петлю я попал, как одно повлекло за собой другое, прибавились домашние беды, и в результате с конца января я не могу вырваться физически уже, чего со мной никогда не бывало прежде.

Когда поправлюсь, думаю съездить в Москву... Баснословные суммы, увы! соблазняют меня, ибо я стая корыстен, алчен и черств, как все».

Затем последовал обмен телеграммами, телефонные разговоры, и день приезда А. А. в Москву был фиксирован на 7 мая.

Мы жили на Арбате, в доме 51, занимая отдельную квартиру из трех комнат: кабинета, столовой и спальни. Петр Семенович тотчас же заявил, что кабинет, как самую удобную комнату, надо предоставить Блоку.

В доме все было готово, чтобы принять дорогого поэта.

7 мая 1920 года в светлое теплое утро я поехала на Октябрьский вокзал встретить Александра Блока.

Он приехал вместе с Самуилом Мироновичем Алянским. Встретив их на перроне, я поехала с Александром Александровичем домой. Он был задумчив и молчалив. Я нашла, что он похудел с нашей последней встречи в Петербурге.

— А я вас очень стесню? — спросил он. — Ведь я теперь «трудный».

— Не будем обсуждать этого сейчас, а через три дня я спрошу, есть ли у вас ощущение того, что вы нам в тягость, — ответила я.

Он улыбнулся.

Как только в Москве стало известно, что приехал Александр Блок, начались телефонные звонки, на которые он подходил очень редко, началось «паломничество» молодежи, особенно после его первого выступления. В большинстве случаев, по его распоряжению, мы отвечали, что его нет дома, но и цветы, и письма, и подарки несказанно радовали его. Он повеселел, помолодел, шутил, рисовал карикатуры, например, карикатуру на Изору и Бертрана. Этот рисунок, хранящийся в моем архиве, сделан карандашом и изображает Изору: голова в профиль, модная прическа, очки, большой нос, тип «синего чулка», а снизу на нее жалобно глядит Бертран. Он изображен по пояс, на голове нечто вроде красноармейского шлема, усики, в руках винтовка со штыком. Мы ходим в Художественный театр, в кино, приглашаем к себе его друзей, тех, которых он хочет видеть, — Георгия Чулкова, Вячеслава Иванова. С последним

в этот приезд он после довольно длительной размолвки помирился, чему я радовалась сердечно, ибо некоторым образом содействовала этому. На следующий день после их встречи Вячеслав Иванов прислал Блоку красные розы, а мне свой сборник стихов «*Cor ardens*» со следующим автографом: «Дорогой Надежде Александровне Коган, давней поэтической приятельнице, свидетельствует свою дружескую преданность и общую с ней любовь к лирике Александра Блока Вячеслав Иванов». Мы бывали в гостях у поэта Юргиса Балтрушайтиса и у других.

Александр Александрович много и часто говорил по телефону с Константином Сергеевичем Станиславским. Обычно Станиславский звонил поздно ночью. Блок садился у телефона, я ставила около него на столик крепкий горячий чай, пепельницу, клала папиросы. Уйдешь, бывало, к себе в комнату и еще долго слышишь приглушенный звук его голоса: Блок и Станиславский беседуют по телефону. Беседовали на отвлеченные темы, на тему о театре. Блок тогда говорил Станиславскому приблизительно то же, о чем писал мне еще в 1919 году в письме от 7 сентября. На мой вопрос, читал ли он пьесу «Российский Прометей»¹¹, он отвечает:

«“Российского Прометея” я знаю, да, она очень интересна. Поставить ее нельзя, но я не помню времени моей жизни, когда русский театр не стремился бы поставить то, что нельзя. Таковы уж русские “искания”. Результат их пока заключается в том, что театр русский отвык ставить то, что можно и должно, и поставить сейчас Островского редко кто сумеет».

Говорили они также о «Розе и Кресте». Блок развивал мысль, которую почти год спустя кратко формулировал в своем последнем письме ко мне:

«Я вспомнил “Розу и Крест”, еще раз проверил ее правду, сейчас верю в пьесу...»

Чтобы не стеснять Блока временем возвращения домой, я дала ему отдельный ключ от квартиры и слышала иногда, как рано утром, когда все еще спят, вдруг тихонько стукнет входная дверь. То Блок ушел гулять. Возвращался он к утреннему завтраку, бодрый, светлый, молодой, оживленный, обычно с цветами, которых было такое изобилие в ту чудесную весну, завтракал с аппетитом, рассказывая нам о том, что видел, где был, и долго засиживались они с Петром Семеновичем в оживленной беседе. Днем он бывал у своих родных¹², встречался с близкими ему людьми, но все мы, кто любил его, всячески старались уберечь его от «деловых» встреч и разговоров.

К вечеру, когда жара спадала, мы вдвоем отправлялись бродить. Он умел бродить. Большое это искусство и огромное наслаждение. Он подмечал то, мимо чего «не поэт» пройдет равнодушно.

Конечным и любимым местом наших прогулок был, обычно, сквер у храма Христа Спасителя. Дойдем туда и сядем на скамью.

Кто помнит еще этот сквер и эту скамью над рекой, тот вспомнит, конечно, и тонкую белостволую березку за нею и куртины цветов.

Над головой стрижи со свистом рассекают воздух, внизу дымится река, налево — старинная церковь, дальше, на другом берегу, — дома, сады.

Блок спокойно, вольно сидит на скамье, он отдыхает. Он снял шляпу, ветер легко играет шелковистыми мягкими вьющимися волосами, кожа на лице уже загорела, обветрилась, он курит, задумчиво глядя вдаль. Мы то говорим, то молчим. На этой скамье, в те далекие вечера, он читал мне Лермонтова «Терек», Баратынского «В дни безграничных увлечений», отрывки своей поэмы «Возмездие» и много, много стихов. На память об одной из таких прогулок он подарил мне Лермонтова в двух томах с такой надписью:

Есть слова — объяснить не могу я,
Отчего у них власть надо мной,
Их услышав, опять оживу я,
Но от них не воскреснет другой.

Александр Блок.
Май 1920, Москва *

И оттиск «Возмездия», напечатанного в «Русской мысли», со следующим автографом: «Дорогой Надежде Александровне Полле еще одна вещь, из которой должно было выйти много, а вышло так мало. Май 1920 г. Москва».

В день своего первого выступления, 8 мая¹³, Блок волновался, но волнением благотворным, творческим.

Мы пообедали в этот день раньше обычного, и каждый ушел к себе отдохнуть, а затем заняться туалетом. Вдруг страшный взрыв потряс дом, второй, третий, — зазвенели и посыпались оконные стекла**. В ужасе я вскочила, из спальни выбежал Петр Семенович, из ванной — Александр Александрович, ник-

* Четыре стиха из стихотворения Лермонтова.

** Взрыв на Ходынском поле (9) мая 1920 года.

то ничего не мог понять, зазвонил телефон, спрашивали, не знаем ли мы, что случилось, и состоится ли вечер, но мы тоже ничего не понимали и не знали. Александра Александровича этот неожиданный взрыв точно встряхнул, он заявил, что вечер, конечно, должен состояться, и начал энергично торопить Петра Семеновича, который медлил, ожидая чьих-либо разъяснений по телефону. Но Александр Александрович очень ласково и настойчиво уговаривал его идти; он согласился, и мы отправились.

На улицах царило необычайное оживление, но с примесью какой-то тревоги. Прошли Арбат, вышли на Воздвиженку. Чем ближе к Политехническому музею, тем народу все больше и больше. Около музея давка, все билеты распроданы, а желающих попасть неисчислимое количество. Пробиваемся в лекторскую. Там Александра Александровича и Петра Семеновича тотчас же окружили, а я вышла взглянуть на аудиторию.

Море голов, в руках у большинства цветы, оживленные лица девушек и юношей, атмосфера праздничная, приподнятая.

Я вернулась в лекторскую. Блок стоял один в стороне и что-то читал. Заметив меня, он поманил меня к себе и сказал:

— Садитесь на эстраде поближе ко мне, боюсь, что-нибудь забуду, тогда подскажите.

Вступительное слово читал Петр Семенович. Оно легло в основу его статьи о Блоке: «Голос поэта»¹⁴.

Затем стихи Блока читали артисты Художественного театра: Ершов, Жданова и др.

Но вот на эстраду вышел Александр Блок.

Буря рукоплесканий, все кругом дрожит. Я ожидала оваций, но такого стихийного, восторженного проявления любви к поэту я никогда не видала.

Все взоры устремлены на поэта, а он стоит, чуть побледнев, прекрасный, статный, сдержанный, и я вижу, как от волнения лишь слегка дрожит рука его, лежащая на кафедре.

Как Блок читал? Трудно словами передать своеобразную манеру его чтения, тембр голоса, жест. Первое, слуховое, так сказать, впечатление — монотонность, но монотонность до предела музыкальная, выразительная, насыщенная темпераментом. Он доносил до слушателя и мысль стиха, и ритм, и «тайный жар»¹⁵, и образ, но все так благородно, просто, сдержанно. Лицо Блока величаво-сосредоточенно, жесты прекрасных умных рук ритмичны.

В перерыве к нему пришло множество народу. Поэты дарили ему стихи, женщины — цветы и письма. Кто-то подарил том

Блока «Театр» в издании «Земля». Книга обтянута лиловым шелком, по которому вышиты шелковые же серебристые ирисы, внутри очень своеобразные рисунки тушью. Я не умею и мне трудно передать, в чем очарование этих рисунков, но они тесно сплетены с текстом. Это находил и Блок. Книга хранится в моем архиве. Уезжая, он подарил ее мне, сделав на ней следующую надпись:

Мира восторг беспредельный
Сердцу певучему дан.
В путь роковой и бесцельный
Шумный зовет океан.

Сдайся мечте невозможной,
Сбудется, что суждено.
Сердцу закон непреложный —
Радость-Страданье одно!¹⁶

Александр Блок
9-е мая 1920, Москва

По окончании вечера, огромная толпа провожала его вплоть до Ильинских ворот. Ему поднесли такое количество цветов, что все друзья и близкие несли их.

После первого вечера и после каждого последующего, не менее триумфальных, он получал на адрес нашей квартиры письма, цветы, стихи (Марина Цветаева¹⁷ и др.), разнообразные подарки, как, например, две художественно сделанные куклы.

Как-то утром раздался звонок. Александр Александрович и Петр Семенович еще спали. Я вышла отворить дверь, и мне подали довольно большой сверток и, кажется, ветку цветов яблони. Я положила все это в столовой на столе, около прибора Блока. Когда он встал и вышел к завтраку, то развернул пакет. В нем оказались две куклы: Арлекин и Пьеро. На Арлекине — лиловый костюм с черным; эту куклу он оставил себе. Пьеро в белом шелковом с черными шелковыми пуговицами одеянии, черное тюлевое жабо, через плечо перекинут атласный алый плащ, на руке кольцо, ажурные белые чулки, черные туфли, очень выразительное лицо. Эту куклу Блок подарил мне.

В этот же его приезд в Москву шли переговоры с Художественным театром о возобновлении работ над постановкой «Розы и Креста», но они оставили горький осадок на душе поэта. После его отъезда в Петербург я продолжала эти переговоры с Немировичем-Данченко. В 1921 году он передал постановку пьесы бывшему театру Незлобина и заключил с ними договор, копия

с которого, с карандашными поправками Блока, хранится в моем архиве, но это уже 1921 год¹⁸. <...>

Прожив у нас в Москве до 18 мая, Блок уехал обратно в Петербург.

Из окна вагона протянул он мне вырванный из блокнота листок, на котором карандашом было написано:

Не обольщай меня угрозой
Безумства, муки и труда.
Нельзя остаться легкой грезой,
Не воплощаясь никогда.

Храни безмерные надежды,
Звездой далекою светись,
Чтоб наши грубые одежды
Вокруг тебя не обвились¹⁹.

Вскоре я получила от него письмо, и вслед за ним — первое письмо от его матери:

«Спасибо Вам, дорогая и многоуважаемая Надежда Александровна, от всей моей материнской души шлю Вам горячую благодарность за вашу ласку и внимание, за тот прекрасный прием, который Вы оказали моему сыну. Когда он вернулся к нам, успокоенный, удовлетворенный, и после его рассказов о московском пребывании, я почувствовала, как много я обязана Вам, как Вы прекрасно сделали, что вызвали его в Москву и устроили все так, что ему не пришлось думать о несносных околичностях обихода. Если бы Вы знали, как это все для него важно! Для него вся поездка оказалась такой благотворной. У меня прямо потребность явилась написать Вам, выразить Вам благодарность, послать Вам горячий привет, хотя Вы меня не знаете. Но я так много слышала о Вас от моего сына, что я как будто Вас немного знаю. И вот решилась написать Вам, крепко, горячо жму Вашу руку. Искренне, глубоко Ваша добροжелательница

А. Кублицкая-Пиоттух

9 июня 1920 г.

Может быть, такого портрета у Вас и нет».

При письме была приложена фотографическая карточка Блока. Он снят в котиковой шапке.

В августе 1920 года я поехала в Петербург и прожила там до конца сентября. В этот приезд я и познакомилась с Александрой Андреевной.

Приехав двумя днями ранее условленного срока, я позвонила Александру Александровичу по телефону. Его не было дома: он уехал купаться в Стрельну. К телефону подошла Любовь Дмитриевна, с которой я была уже знакома.

— А Саша ждал вас десятого, — сказала она, — но подождите, пожалуйста, у телефона, я пойду скажу Александре Андреевне, что вы приехали.

Вернувшись, она сказала:

— Александра Андреевна просит приехать вас сейчас же, не дожидаясь Саши.

Я остановилась на Знаменской, и путь до Офицерской был не близкий. Наконец приехала, поднялась по уже знакомой лестнице и позвонила. Дверь отворила Любовь Дмитриевна, мы поздоровались, и она проводила меня по коридору до дверей комнаты Александры Андреевны.

Я вошла. Небольшая, светлая, в то утро залитая солнцем комната, уютно и просто обставленная, и первое, что поразило меня, что, казалось, жило и господствовало над всем — это портрет Блока (работы Т. Гиппиус)²⁰. Навстречу мне с небольшого диванчика поднялась невысокого роста, хрупкая на вид, седая женщина. Она в сером платье, на плечах легкая белая шаль. Лицо очень болезненное, нервное, в глазах усталость и печаль, но вместе с тем оно очень одухотворенное, нежное, женственное. Жестоким резцом своим провела жизнь на этом лице скорбные борозды, но высоких душевных, «романтических» движений не угасила, они отражались в глазах, в улыбке.

Никакой напряженности мы не почувствовали. Беседа завязалась сразу оживленная и дружеская. Так, незаметно протекло время до трех-четырёх часов. Вдруг Александра Андреевна начала волноваться.

— Не утонул ли Саша, не случилось ли с ним чего-нибудь?

Но вот под окном послышались знакомые шаги. Александр Александрович возвращался домой.

С Александрой Андреевной я встречалась почти ежедневно. В конце сентября я уехала, и с тех пор мы уже никогда больше не виделись, но продолжали переписываться почти до самой ее смерти.

Тут я позволю себе сказать несколько слов об отношениях между матерью Блока и его женой. Эти отношения сыграли очень большую и, я бы сказала, роковую роль в его жизни.

Они были трудными и сложными. По-моему, зависело это главным образом от того, что обе были натурами незаурядными. По складу характера, по мироощущению, по темпераменту,

по внешности они были совершенно противоположны друг другу. Мать — романтик, с некоторой долей сентиментальности в высоком, старинном понимании этого слова. На малейшую бытовую, житейскую неувязку, на всякую душевную даже не грубость, а царапину она реагировала болезненно, и ее чувствительность была предельна.

Любовь Дмитриевна была здоровая, сильная, полнокровная — как внешне, так и в отношениях к людям, к событиям, в своем мироощущении, что очень хорошо действовало на Блока, но столь глубокое различие между Александрой Андреевной и Любовью Дмитриевной создавало множество поводов для сложных и тяжелых конфликтов, создавало напряженную атмосферу, в которой порой задышался такой чувствительный и нежный человек, как Блок.

Жена и мать прекрасно понимали это, но не могли преодолеть себя и не в силах были ничего изменить в своих взаимоотношениях. После смерти Блока я получила, спустя неделю, от Александры Андреевны письмо, где есть такая фраза: «Вы знаете, что его погубило. А мы с Любой не сумели сберечь... не сберегли!»

В этот день я осталась у них к обеду и лишь поздно вечером вернулась к себе.

В этот мой приезд я бывала у Блоков почти ежедневно, то к обеду, то вечером. Много времени проводила с Александрой Андреевной, бывала с Любовью Дмитриевной. Но в доме в это время царил именно та сгущенная атмосфера, о которой я упомянула, и Блок был мрачен, много курил и молчал.

Однажды после обеда, в прохладный осенний вечер, мы вышли с Александром Александровичем прогуляться и направились к Летнему саду. Он шел угрюмый, молчал, не отвечал на мои вопросы, может быть, даже не слушал меня. Дойдя до Летнего сада, мы сели в аллее на скамью. Уже гасла вечерняя заря, сквозь ветви деревьев багряный отсвет ложился на бурую землю, устланную прелым листом, на белые статуи, на дальние дорожки. Располагаясь на ночлег, в старинных липах каркало воронье, за решеткой сада звенел и шумел город, а в саду было тихо, почти безлюдно. Я вдыхала осенний терпкий воздух, порой где-то вверху, между деревьями, шелестел ветер, и нас поливало золотисто-красным лиственным дождем. И вспомнила я другой вечер, другой — весенний, розовый — закат, благоухание сирени, цветущих яблонь, храм Христа Спасителя, Москву...

И вот в этот вечер Блок поведал мне о том, что тяжким бременем долгие годы лежало на его душе и темной тенью сла-

лось над светлыми днями его жизни. Рассказывать об этом я не считаю себя вправе, ибо дала слово Блоку никогда и никому об этом не говорить²¹.

На следующий день, когда я пришла к Блокам, он подарил мне сборник «За гранью прошлых дней», с надписью: «Надежде Александровне Нолле на память о петербургском августе, не таком, как московский май. Май был лучше. Но надо, чтобы было еще лучше, чем май и август. Ал. Блок».

Так шло время. Письма Блока становились все мрачнее, порой они бывали даже страшными. Вспоминая, сколь благотворно подействовала на него поездка в Москву в 1920 году, я пытаюсь уговорить его приехать к нам вновь. О его физическом состоянии и душевном настроении мне было известно не только из писем Блока, но я слышала об этом и от его друзей, и об этом же писала мне мать его.

23 сентября 1920 года Блок пишет мне: «О вечерах в Москве в октябре—ноябре я сейчас думаю, что “не выйдет”. Слишком рано, во-первых; во-вторых — не весна, а зима, Москва — суровая, сугробы высокие: нельзя читать, имея облик ветерана наполеоновской армии — уже никто не влюбится, а главное, и те, которые, было, весной влюблялись, навсегда отвернутся от такого человека...»

И в другом письме (18 октября): «Приехать я не могу. Наступает трудное время... Надо экономить с выступлениями; ведь в них *выматывается* душа, и вымотавшаяся душа эта очень пострадает, если она покажется в таком виде перед любопытным зверем — публикой. Кроме того, решаясь на выступление, надо быть на диете, как я это мог позволить себе весной, живя у Вас...»

Вскоре я получила от Блока сборник «Седое утро». Надпись на книге была такая: «Надежде Александровне Нолле эта самая печальная, а, может быть, последняя моя книга. Октябрь 1920. Александр Блок».

Я продолжала вести переговоры с Художественным театром, которые сильно затягивались. Я вела их не со Станиславским, а с Немировичем-Данченко, и меня глубоко уязвлял и поражал его, так сказать, «купеческий» подход к делу. Пьеса была принята, срететирована, со слов Станиславского, — «все, кроме декораций, было готово», так в чем же дело? Но Немирович-Данченко «торговался». Это было самое обидное. А Блокам в это время жилось действительно очень трудно. Сам Александр Александрович прямо не писал мне об этом, но Любовь Дмитриевна писала.

Беспокойство за Блока не покидало меня. Чтобы хоть несколько разомкнуть сжимавшие его бытовые клещи, я предложила ему вступить пайщиком в нашу книжную «лавочку»²² и, кроме того, выпустить в нашем издательстве «Первина» его стихи. Блок согласился.

В апреле 1921 года я получила от Блока письмо, в котором он писал: «Я не знал, ехать ли в Москву, теперь выясняется, что ехать надо... Чуковский написал большую и интересную книгу обо мне²³, из которой и будет читать лекцию, а потом я буду подчитывать старые стихи. Жалею только, что в этом году у меня на душе еще тяжелее, чем в прошлом, может быть, оттого, что чувствую себя физически страшно слабым, всегда — измученным. Обстоятельства наши домашние очень тяжелы. Ну, до свидания, до Москвы...»

Итак, Блок приезжает.

Вновь весна, май, теплое весеннее, благоуханное утро. Я поехала на вокзал встречать поэта. Приехав задолго до прибытия поезда, я ходила по перрону. На душе у меня было тревожно и смутно.

Подошел поезд, я всматриваюсь в выходящих из вагонов, отыскивая среди них Александра Александровича. Вижу Чуковского, а вот и Блок... Но он ли это! Где легкая поступь, где статная фигура, где светлое, прекрасное лицо? Блок медленно идет по перрону, слегка прихрамывая и тяжело опираясь на палку. Потухшие глаза, землисто-серое лицо, словно обтянутое пергаментом. От жалости, ужаса, скорби я застыла на месте. Наконец Блок заметил меня, огромным усилием воли выпрямился, ускорил шаги, улыбнулся и, наклоняясь к моей руке, сказал: «Это пустяки, подагра, не пугайтесь».

Мы сели в автомобиль и поехали домой²⁴.

С первого часа, с первого дня я ощутила незримое присутствие какой-то грозной, неотвратимой, где-то таящейся около нас катастрофы.

Блоку отвели ту же комнату, что и в прошлом, 1920 году. Мы приехали, он поздоровался с Петром Семеновичем, тотчас же ушел к себе и лег на диван. На лице Петра Семеновича я прочла тоже тревогу. Спустя некоторое время Блок вышел из своей комнаты и, почувствовав общее беспокойство, начал уверять нас, что просто устал с дороги, отдохнет, выспится и завтра будет иным.

Но на другой день и во все последующие состояние здоровья Блока не улучшалось. Он плохо ел, плохо спал, жаловался на боли в руке, ноге, в груди, в голове.

Помню, однажды на рассвете слышу, что он не спит, ходит, кашляет и словно стонет. Я не выдержала, оделась и, постучав к нему в дверь, вошла. Блок сидел в кресле спиной к двери, в поникшей, утомленной позе, перед письменным столом, возле окна, сквозь которое брезжил холодный и скупой рассвет. В этот предутренний час все было серо-сумрачно в комнате. И стол, и смутно белевшая на нем бумага, которую я всегда клала вечером на этот стол, даже сирень в хрустальном стакане казалась увядшей. Услыхав, что кто-то вошел, Блок обернулся, и я ужаснулась выражению его глаз, передать которое не в силах. В руке Блок держал карандаш. Подойдя ближе, я заметила, что белый лист бумаги был весь исчерчен какими-то крестиками, палочками. Увидев меня, А. А. встал и бросил карандаш на стол. «Больше стихов писать никогда не буду», — сказал он и отошел в глубь комнаты.

Тогда я решила, что надо сейчас же переключить его внимание на иное, вырвать из круга этих переживаний, и, сказав, что не хочу больше спать, предложила пройтись, подышать свежим воздухом раннего утра. Блок согласился. Я быстро оделась. Мы вышли и отправились по безлюдным, прохладным переулкам Арбата к храму Христа Спасителя.

Мы шли медленно, молча и, дойдя до скамьи, сели. Великое спокойствие царило окрест, с реки тянуло запахом влаги, в матовой росе лежал цветущий сквер, а в бледном небе постепенно гасли звезды. День занимался. Как благоуханен был утренний воздух! Как мирно все вокруг! Какая тишина!

Мало-помалу Блок успокаивался, светлел, прочь отлетали мрачные призраки, рассеивались ночные кошмары, безнадежные думы покидали его. Надо было, чтобы в этой тишине прозвучал чей-то голос, родственник сердцу поэта, чтобы зазвенели и запели живые струны в его душе.

Внезапно в памяти моей всплыли строфы Фета:

Передо мной дай волю сердцу биться
И не лукавь.
Я знаю край, где все, что может сниться,
Трепещет въявь...

Вспомнить дальше я не могла. Блок улыбнулся и продолжил:

Скажи, не я ль на первые воззванья
Страстей в ответ
Искал блаженств, которым нет названья
И меры нет²⁵.

Так прочел он до конца все стихотворение, успокоился и обратнo шел уже иным.

В этот приезд Блок выступал всякий раз очень неохотно, его раздражала публика, шум, ему трудно было читать стихи, ходить, болела нога, он задыхался, но успех выступлений был столь же велик, как и в 1920 году²⁶. Та же буря оваций, то же море цветов, множество писем, стихов, звонков по телефону, но он оставался ко всему почти равнодушен. Его здоровье все ухудшалось, и наконец, после долгих настояний с нашей стороны, он согласился показаться врачу, которого мы пригласили на дом. Врач нашел состояние его здоровья очень серьезным и настаивал на полном покое, находя, что лучше всего сейчас помог бы ему постельный режим. Но уговорить Блока лечь в постель не удавалось, каждое утро он вставал через силу, был так же подтянут, как обычно, но давалось это ему, конечно, не легко. Он чувствовал себя все хуже и хуже, худел и таял на глазах.

Наконец Блок решил уехать ранее намеченного срока. Мы не удерживали его, понимая, что это бесполезно. Я написала письмо его матери в Лугу, где она в то время жила у своей сестры и оттуда посылала ему письма, которые очень волновали его. <...>

И вот наступил день отъезда Блока. С жестокой тяжестью в сердце я собирала и помогала ему укладывать вещи. На вокзал мы приехали рано, пришлось сидеть в шумном, прокуренном, душном зале. Блок сидел, словно окаменев.

Подробности последних минут стерлись в моей памяти, но одно мгновение я помню отчетливо. Блок вошел в вагон и стоял у окна, а я возле. Вот поезд задрезжал, скрипнул и медленно тронулся. Я пошла рядом. Внезапно Блок, склонившись из окна вагона, твердо проговорил: «Прощайте, да, теперь уже прощайте...» Я обомлела. Какое лицо! Какие мученические глаза! Я хотела что-то крикнуть, остановить, удержать поезд, а он все ускорял свой бег, все дальше и дальше уплывали вагоны, окно — и в раме окна незабвенное, дорогое лицо Александра Блока.

